

т о ж е

р о д и н а

А н д р е й
Р у б а н о в

альпина

ПРОЗА

Москва, 2026

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-44
Р82

Рубанов А.

Р82 Тоже Родина : [рассказы] / Андрей Рубанов. — М. : Альпина нон-фикшн, 2026. — 188 с.

ISBN 978-5-00223-797-5

Сборник зарисовок о российской жизни в эпоху, когда страна менялась вместе со своими гражданами. Здесь есть всё — от солдатских будней до драк на вещевых рынках и офисных интриг. Герой проходит через криминальные схемы, знакомится с ворами и оперативниками, сидит в тюрьме и размышляет о природе прозы. Особое внимание уделено людям вокруг: армейским друзьям, деловым партнерам, случайным попутчикам и тюремным соседям. Текст написан жестко, иронично и искренне. Это попытка осмыслить пройденный путь и понять, что осталось от прежних идеалов в мире чистогана и постоянно меняющихся правил.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00223-797-5

© А. Рубанов, 2011
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2026

Шасси, закрылки выпущены

Самолет взлетает против ветра. Так же и человек. Желает набрать высоту — разворачивайся против всего и всех. Против обстоятельств, против советчиков, против собственных страхов.

В конце лета, за три месяца до дембеля, я завел себе фуфайку, чисто гражданскую. Носить неуставную одежду запрещено — но не всем. За три месяца до дембеля воин Советской армии опытен и спокоен. Знает, когда и что можно, а когда нельзя.

Обновку я украсил надписью на уровне груди: «А правильно ли ты живешь?» Масляной краской через трафарет. В две строки.

Утром надевал — и бегал, три километра, по дороге от аэродрома до поворота к ближайшей деревне, потом обратно. Самовольно покидать расположение воинской части запрещено — но не мне. Я жил правильно. Тренировал себя для будущего.

Традиционные солдатские самоходы — за водкой, за девчонками — тут не практиковались. Аэродром окружали унылые деревни. Северная окраина Тверской области. Местные девушки сутулы, они пахнут навозом, имеют круглые веснушчатые лица, сонные глаза и с пятнадцати лет повязывают головные платки по-бабьи.

Самолет взлетает всегда против ветра. В зависимости от направления ветра он стартует либо с одного конца полосы, либо с другого. И там и там из надежного железобетона построены пункты управления. Внизу — электроника, сверху — зал с панорамным остеклением, где командуют полетами офицеры с большими звездами.

Заходя на посадку, истребитель-перехватчик выпускает шасси. Пилот не знает, готовы ли колеса к соприкосновению с полосой. Поэтому с земли в огромный бинокль наблюдает специальный солдатик. Его служба — вовремя увидеть самолет и отрапортовать в микрофон: «Шасси, закрылки выпущены!» Если техника подведет, солдатик закричит: «Нет шасси!» — и нажмет сигнал тревоги.

Этот солдатик — я.

Но техника не подводит. Она военная, надежная. В конце дня все перехватчики благополучно приземляются, летчики уходят ужинать в свою особую летную столовую, там им дают особый паек. Человек, защищающий небо Родины, должен быть полон сил. Офицеры-диспетчеры покидают свои кресла, садятся в зеленые вездеходы и отправляются в другую столовую, офицерскую. Кто не летает, тому паек похуже. Но тоже ничего.

Гаснет полоса. Тягачи увозят самолеты в капониры. Падает ночь, и пункт управления остается на попечении пятерых бойцов. У них отдельная комнатуха с телевизором. У них не служба, а мед. До казармы, до начальства, до командира части — два километра полем. Там дисциплина, подъем и отбой, построения, политзанятия, начищенные сапоги, застегнутые воротнички, дневальные, наряды на кухню и в штаб. Там — армия, а у нас — санаторий. Нам паек не нужен. Один из нас уже сбегал на хоздвор к земляку и принес полмешка картошки. Мы

пожрали и до глубокой ночи смотрели сверхмодную программу «Взгляд».

Иногда вместо «Взгляда» смотрим экстрасенсов, их двое, они наяправляют по очереди, через день. Один молча сопит и помавает лишенными мозолей ладонями. Второй — с лицом боксера или же хоккеиста, более продвинутый — включает успокаивающую музыку и чугунным баритоном произносит фразы. Вводит аудиторию в транс. Газеты утверждают, что он лечит даже бруцеллез. Мы, пятеро, давно сошлись во мнении, что с таким подходом — медленная мелодия, зрочки исподлобья — он может уболтать любую женщину. Нам по девятнадцать, эта тема нам близка.

К концу сеанса мои сослуживцы уже спят. На меня гипноз не действует. Я залезаю на крышу, бросаю одеяло, ложусь и смотрю в небо.

Там звезды, их много.

У меня есть отец, мать и сестра. У меня есть студенческий билет Московского государственного университета. Есть жизнь, она вся впереди. Ее столько, что если я пытаюсь хотя бы примерно вообразить ее объем, ее варианты, краски, запахи, то переживаю экстатические ощущения. Голове становится холодно, потом горячо. Пальцы сами собой шевелятся, даже на ногах.

Моим пальцам свободно. Сапоги я давно не ношу, для старого воина лучшая летняя обувь — тапочки. За три месяца до дембеля пора отвыкать от портянок.

Конечно, я не желаю спать, я слишком возбужден.

Мне не терпится уйти на дембель. У меня все продумано. Точно известно, что я сделаю в первый день, во второй, в третий. Я буду жить, я все попробую, я везде побываю и всему научусь. Я напишу стихи, песни и романы, у меня будет самая красивая жена, с длинными ногами

и огромными зелеными глазами, она родит мне одиннадцать сыновей (чтоб хватило на футбольную команду). Я возьму от жизни все; оставлю немного себе, кое-что отцу, маме и сестре, а остальное раздам. Вся жизнь, какая есть во вселенной, протекает через меня, как через трубу; любая попытка поставить преграду кончится тем, что меня разорвет. Нельзя придерживать, прикармливать, к себе подгрести, я не такой и никогда таким не стану.

Красота, любовь, счастье, наслаждение, нирвана, энергия — все это одно и то же, и всего этого слишком много.

Утром я бегу по обочине. На моей груди крупно написано: «А правильно ли ты живешь?» Читать некому, я один. Иногда меня обгоняет какой-либо дребезжащий грузовик. Это моя Родина; сколько себя помню, тут все дребезжит и еле катится, однако наши самолеты поднимаются очень высоко, и нас очень любят наши матери.

Бегу и сочиняю.

Мальчик бежит по зеленой траве.
Солнышко светит над ним в синеве.
Рядом с дорогой река и родник.
А по дороге пылит грузовик.
Мучает душу полуденный зной.
Кто я на этой картинке цветной?
То ли я мальчик, что весел и бос,
То ли я пыль из-под черных колес.

Зимой я не бегал в деревню. Побаивался. Я отсидел пять суток на губе за драку с офицером и был на плохом счету, мне угрожал переезд с аэродрома в казарму, а это сапоги, портянки, застегнутый на все пуговицы китель, это в столовую — строем, с песней, спасибо, с меня хватит, я полтора

года маршировал, мало вам, что ли? — приходилось осторожноничать. Я не вылетел со своей синекуры только благодаря вмешательству друга и земляка, влиятельного сержанта Лакомкина, уроженца города Серпухова; начальство сержанта уважало, а меня недолюбливало, я считался типичным «похуистом», вечно рядовым. Так что всю зиму мне приходилось гонять в своих запрещенных уставом кедах прямо по взлетной полосе. Но зимой полосу чистят «башмаки».

Служить в «башмаках» тяжело. «Башмаки» служат так: с апреля по ноябрь беспробудно спят, в остальное время года вообще не спят, поскольку взлетная полоса круглосуточно, в любую погоду должна быть сухая и чистая. Зимой несчастные — кожа да кости, красные глаза чуть навывкате, покрытые коростой руки, безбожно грязные хэбэ — бесконечно гоняют взад и вперед свои циклопические, воняющие соляром бульдозеры и снегоуборочные агрегаты, а напоследок выкатывают знаменитый «пылесос» — сверхмощную реактивную турбину на огромном шасси. Волной горячего воздуха с бетонных плит сдуваются остатки снега. Однажды, в феврале, во время пробежки я попал под «пылесос» и едва не погиб. Обогнал медленно катящуюся махину и получил удар воздушной волной по ногам. Кубарем летел пятьдесят метров по твердому, как базальт, ледяному насту, нигде такого нет, только рядом со «взлеткой», где горячий ураган плавит сугробы в каменную черную корку.

Разбил колени, ободрал плечо и задницу. «Башмаки» в кабине «пылесоса», безусловно, сполна насладились неожиданным развлечением.

Летом мы тоже иногда их видим. Медленно, как зомби, они цепочкой шагают по бетону и отбрасывают вениками мелкие камешки. У них темные шахтерские лица. Они никогда

не заходят к нам, в наш дворец с панорамным остеклением. Боятся. Они — морлоки, согбенные подземные жители, тогда как мы — везунчики, розовощекие нажиматели кнопок.

Мой друг и земля сержант Лакомкин самый из нас розовощекий. У него молочный румянец и полные губы, всегда изогнутые в искренней ухмылке. Белое гладкое тело без признаков мускулатуры. Я не видел другого человека, которому бы так подходило отсутствие бицепсов и мягкий живот. Веселому подвижному парню зачем мышцы? У него нет врагов. Даже суровые чечены, живущие маленьким герметичным землячеством, доброжелательны к нему. Он ходит так, словно над его головой всегда парит воздушный шарик. Его шутки звонкие и точные. В армии такие люди на вес золота, поэтому мой друг — сержант и перед дембелем наверняка получит старшего сержанта. Когда совсем тяжело (например, надо вытолкать из жидкой грязи машину или разгрузить вагон угля на тридцатиградусном морозе) — балагуры необходимы, они поднимают боевой дух.

Достоинства моего друга не ограничиваются веселым нравом. Спокойный солдат, он не лезет на рожон и всегда полон достоинства. Случись большая война, он будет звенеть орденами.

Та зима, моя последняя солдатская, закончилась анекдотом. В начале марта борт привез пополнение: троих офицеров с женами. Последний месяц мы видели существ другого пола только по телевизору. Когда серая туша, гудя винтами, развернулась перед нашим дворцом, я заорал:

— Земеля, иди быстрее!

— Женщины, — зачарованно сказал негрубый сержант Лакомкин, заглянув через мое плечо. — Пойдем, поможем.

— Сиди, — возразил я, циничный резонер. — У них там диван. Заставят тащить.

Из самолетного брюха действительно выгружали диван, вопиюще гражданский, ярко-желтый в крупные синие цветы.

Офицерики браво переминались. Тонкие, красивые, один в шикарных усиках, другой похож на струну, шинель внакидку — что твой Наполеон; третий, попроще, с лицом практичного малороссиянина, суетился вокруг дивана, это был, конечно, его диван, приданое жены или подарок дальней родни, с таким диваном хорошо шагать во взрослую жизнь, делать детей под скрип пружин.

— Совсем молодые, — нежно констатировал сержант. — Видимо, только с училища.

Мы помолчали, проникаясь. На наших глазах три офицерские семьи начинали свой путь. Пыльные гарнизоны, степи, тайга, замороженное Забайкалье, потом, наверное, Туркмения. Юные лейтенанты были угловаты и немного отсвечивали, они напоминали куски рафинада, и их ждала та же судьба. Из сотни один доберется до полковника, из ста полковников один будет генералом с широкими красными лампасами.

Жены — будущие генеральши — были совсем девочки, наши ровесницы, едва не в бантиках. Одна долго озиралась, потом быстро пошла в сторону дворца.

— Туалет ищет, — догадался сержант и сменил позу.

— Проводи, — посоветовал я.

— Дурак, что ли. Иди сам проводи.

Засмеялись, нам стало стыдно, наш сортир типа «люфт-клозет» — заснеженная дощатая будка на самом отшибе — представлял собой нечто кошмарное. Сержант Лакомкин застонал и закрыл лицо руками.

— Только не это.

Циничный резонер, я возразил:

— Ничего. Зато сразу поймет, что почему и кто с мячом...

Обратно она шла, высоко подняв подбородок, с остановившимся взглядом, с выражением ужаса на бледном лице. Изящная, как перехватчик СУ-15. Тщательно кутаясь в свою слишком легкую для наших влажных зим дубленочку. И мы с сержантом увидели, как она, подойдя к подругам, покачала головой: мол, не ходите туда, хуже будет, лучше потерпеть.

Подошла машина. На диван никак не рассчитанная. Пока грузили чемоданы, пока ходили вокруг двуспального цветастого ложа любви, самолет запустил турбины и стал отруливать. Диван опрометчиво оставили неподалеку от хвоста.

Винты взвыли. Офицерики схватились за фуражки. «Наполеон» едва успел спасти свою с иголки шинель.

— Гляди, гляди!

— Все, — печально сказал сержант Лакомкин, обнимая меня за плечи. — Пиздец.

Он не ругался без нужды, отменно воспитан был, однако судьба дивана не расшифровывалась никаким другим словом. Борт тяжело качнул крыльями. Диван сначала медленно поехал. Турбины заревели тоном выше. Дамы, с испорченными прическами, спрятались в машине. Их мужья легли плечом на воздух. Владелец дивана стал разевать рот и делать гражданские жесты.

Когда пилот дал тягу, диван заскользил со скоростью спринтера. Потом запнулся краем о комья льда, перевернулся набок, и еще раз, и еще, — понесся, влекомый снежным вихрем, куда-то очень далеко, на резервную полосу, и там сгинул.

— Шасси, закрылки выпущены, — подытожил я унылым голосом настоящего циничного резонера.

Забыл сказать, что рядом с настоящей бетонной взлетной полосой всегда строят резервную, грунтовую, в случае нужды ее можно быстро застелить плитами и превратить в почти настоящую. В армии все продумано. Наша Родина надежно защищена.

С тех пор прошло пять месяцев. Я бегу, на моей груди написано: «А правильно ли ты живешь?» Вчера мой друг и земля сержант Лакомкин приходил в гости. Он теперь в казарме, учит молодежь. Но меня не забывает. Вот, привез альбом Виктора Цоя «Группа крови». А также популярную новинку, «Ласковый май». Хохотал и шутил. Я вместе с ним. Мы ждали дембеля, мы были счастливы.

— Помнишь, — спросил он, — ту девчонку, офицерскую жену, которая ходила в наш сортир? Помнишь ее лицо?

— И что она? Дала тебе в каптерке? Перекрасилась в брюнетку?

— Пока не дала. Но я ее каждый день вижу. У нее все время такое лицо.

— Тут армия, — сказал я. — И не простая, а Советская. Наши солдаты самые смелые. Наши самолеты самые быстрые. Наши офицеры самые пьяные. Наши сортиры самые вонючие.

Разделись до трусов, загорали. Потом приняли душ. Я сам изготовил летнюю душевую кабину и даже получил благодарность от командира части. Кабина состояла из обтянутого парашютным шелком деревянного каркаса и бочки. Бочку мы украли в соседнем батальоне. Каждую неделю я окашивал штык-ножом траву вокруг моей конструкции.

Я бегу и считаю в уме. Выходит, что мне остается служить не более ста дней. Если верить телевизору, то на гражданке сейчас творится черт знает что. Но так даже интереснее.

Когда вокруг творится черт знает что — это и есть настоящая жизнь.

Вернусь домой. Заживу правильной жизнью. Буду быстр и крепок. Постоянно в тонусе. Буду упруг, как шарик литой резины. Одет просто и хорошо. Всесторонне развит. Очень спокоен. Иногда, наоборот, чрезвычайно возбужден. Моя работа — о, с ней все просто. Не знаю никого, кто бы работал лучше, чем я. Журналистика — только начало. Через три года я опубликую первые рассказы, а через семь лет напишу роман. Может быть, возглавлю передовой журнал. Может быть, возглавлю еще какое-то ультрасовременное начинание. Может быть, не возглавлю. Стать главным — это не главное.

Неоднократно за свои полновесные двадцать лет я спрашивал себя, что для меня главное, и в конце концов вывел точную формулу. Главное — найти свой путь и зайти настолько далеко, насколько хватит сил. Дальше, еще дальше. Совсем далеко.

Я бегу. Потом, от избытка энергии, прибавляю, несусь изо всех сил, и вот мне начинает казаться, что я лечу.

Проходит ровно семь лет, и я опять лечу изо всех сил. Только теперь не бегу, а еду. В Серпухов к старому армейскому другу, старшему сержанту запаса. Мы не виделись семь лет, и теперь настало время. Мне нужны надежные люди. Мой земляк Лакомкин — надежный человек, и ему будет предложена высокооплачиваемая непыльная работа.

Трасса в Серпухов строилась к Олимпиаде, она прямая и удобная, идет в обход населенных пунктов. Светофоров нет. Есть стационарные посты автоинспекции, но они давно превращены в магазинчики — окна заставлены батареями бутылок. Я пытаюсь закурить, рискую приоткрыть

окно, но на скорости двести двадцать этого делать нельзя. Воздух со свистом врывается в щель, и по салону начинают летать документы, минуту назад спокойно лежавшие на заднем сиденье. Сигарета убирается обратно в пачку.

Я давным-давно работаю только с документами. Никакого товара, никаких складов, никакого экспорта и импорта, только бумаги. Ценные. Миллионный бизнес уместается в тоненьком портфельчике.

Машин мало, они все тихоходы, я вдвое быстрее, мне уступают левую полосу. Потом меня нагоняет такой же, как я, полубезумный современный дикарь, и машина его даже получше моей. Какое-то время идем колонной. Проскакиваем засаду, целых трое инспекторов, едва не подпрыгивая, машут нам своими забавными жезлами, но быстро понимают, что мы не собираемся тормозить, и отбегают назад. Даже если бы я захотел остановиться, с двухсот до нуля, без риска для жизни — мне понадобилось бы пятьсот метров пути. А потом что — задом ехать?

Серпухов кажется мне уютным и плохо освещенным. Не Москва, но тоже Родина. Очень тихо; когда я нахожу улицу, иду к дому, в ушах свистит. За нужной мне дверью звуки веселья. Мне сразу открывают, как будто ждали. Внутри душно. Сам того не желая, я попал точно на день рождения собственного армейского друга. Добрый знак.

У меня нервная и опасная работа, и я очень суеверен.

Земля изумлен. Его челюсть отвисает. За семь лет он почти не изменился. Ну да, с ним произошло то, что по-русски называется «размордел», — но в остальном он тот же широко улыбающийся сержант с хитрым, немного масляным взглядом.

Вокруг него ярко накрашенные девушки и пузатые мужики в рубахах навыпуск. В стаканах мутное вино. Разрушенный

торт. Я знакомлюсь со всеми и тут же выбрасываю из головы имена, мое время дорого, я приехал по делу; через десять минут я уединяюсь с сержантом в дальней комнате и делаю предложение. Речь идет о том, что сержант должен немедленно выехать в Москву, снять хорошую квартиру, а затем делать в точности то, что я ему говорю. К черту Серпухов, на кону миллиарды. Родина зовет обогащаться. Нужны пять добровольцев, с паспортами, каждый станет фиктивным директором фирмы; я плачу большие деньги и даю гарантии безопасности.

Все выглядит очень красиво. Я упиваюсь своей миссией. Козырный чувак примчался к армейскому другу, чтобы выдернуть его из полужидкого провинциального дерьма. От моего предложения невозможно отказаться. Я упал прямо с неба, я намерен перевернуть всю жизнь старого товарища.

Когда-то со мной сделали то же самое.

Он почти не думает. Изумлен и даже шокирован. Выкуривает половину сигареты и говорит:

— В жопу все. Я согласен.

От него пахнет, как от мальчишки. Свежий пот, немного водки и много дрянного табака.

Не сходя с места, я выдаю подъемные. Три тысячи долларов, или пять, или сколько там. Выпиваю рюмку, обнимаю друга и лечу назад. Другу дано трое суток на то, чтобы свернуть дела. Какие у него могут быть тут дела, презрительно думаю я. Он что-то говорил про продуктовую палатку. Бог мой, на дворе девяносто шестой год, люди делают состояния легким движением мизинца, какая палатка. Разумеется, я все сделал правильно. Сержант вольется в большую затею, он всю жизнь будет мне предан. С таким человеком я взлечу. Высоко, как перехватчик СУ-15.

Я звоню ему каждый день. Мое время дорого, я быстр и крепок. Постоянно в тонусе. Упруг, как шарик литой резины. Одет просто и хорошо. Всесторонне развит. Непрерывно возбужден. Моя работа — о, с ней все просто. Не знаю никого, кто бы работал лучше, чем я. Правда, рассказы и романы не написаны, я решил написать их как-нибудь потом.

Во вторник земля докладывает, что почти готов. Я высылает водителя — забрать паспорта добровольцев.

В среду он клянется, что придет утром четверга.

В четверг, в восемь утра, меня арестовали. В моем кармане лежали паспорта людей из Серпухова. В половине девятого везли на допрос, а мой телефон трезвонил каждые пять минут. Это армейский друг, земля, сержант Лакомкин, приехав на Павелецкий вокзал, искал меня, чтоб я повел его в новую жизнь.

Потом я сел. Шасси, закрылки выпущены. Я больше никогда не видел своего друга.

Из разговоров со следователем — а они продолжались почти два года — выяснилось, что владельцам паспортов здорово потрепали нервы.

Отсидев свое, я твердо решил разыскать сержанта. Выслушать все, что он обо мне думает. Получить в рыло. Как-то компенсировать ущерб. Когда я представлял себе ситуацию его глазами, мне становилось дурно. Прилетает из Москвы некто лощеный, трясет деньгами, зовет за собой — а потом появляются менты, вяжут всех и бьют.

Мы ушли на дембель двадцать лет назад. Последний раз мы виделись тринадцать лет назад. Я освободился из тюрьмы десять лет назад.

Я все собирался поехать к нему, повиниться, подставить щеку для удара, но за десять лет так и не собрался. Я и не заметил, как пролетели эти десять лет.

Надеюсь, он жив. Надеюсь, он счастлив.

Иногда — редко, один раз в два года — я тоже бываю счастлив, резким, плотным счастьем, но все равно не таким, как в восемьдесят девятом, за три месяца до дембеля, когда бежал сквозь влажное утро, имея на груди надпись: «А правильно ли ты живешь?»

Носки

Мы — трое — пили всю ночь.

Один из нас, по слухам, недавно убил человека и теперь излучал трагическую ауру. Второй жил карточной игрой и аферами, он был тих, немногословен и вел себя как малый, знающий все на свете. Такой многоопытный скромник есть в любой компании — как правило, он на два или три года старше остальных, и часто его речи снисходительны.

Третий участник застолья считался наивным новичком, так было всем удобнее, в том числе и ему самому. По большей части он молчал и слушал.

Так пьют за липким столом портового притона три пирата, едва сошедшие со своей неказистой, но быстроходной посуды; добыча на сей раз невелика, но ее хватило на несколько бутылок вина и несколько ломтей хлеба; подергивают засаленные манжеты, скалят желтые зубы, раскуривают трубки черного табака и смотрят друг на друга взглядами приязненными, но и настороженными.

Ну, я не курил. Считал себя спортсменом. И не налегал на спиртное. Молчал и слушал.

— Да, ты много не пей, — усмехались двое других. — Тебе утром ехать.

В ответ я кивал и смотрел в окно на дома напротив.

Число этажей не поддавалось счету. Город был огромен, он возбуждал меня. Размах — вот ради чего я сюда перебрался.

Над столом повисали фразы, почти всегда небрежно-многозначительные. Говорили о том, кто кому должен. Кто отдает и кто не отдает. Кто хочет отдавать, но не может, а кто чересчур много о себе возомнил и не желает отдавать, хотя вполне способен. Иногда я не все понимал. Многие важные слова, существительные и глаголы, маскировались жаргоном или жестами. Уловив два или три раза одну и ту же непонятную формулу, я по контексту угадывал значение, незаметно радовался и вслушивался дальше.

К полуночи я четко понимал, что такое «вилы», «швырялово» и «клюшка с брюликами».

В половине первого мне стало стыдно: как я дожил до своих двадцати лет, ничего не зная про «швырялово»? Это же так просто.

Я вырос в маленьком городе. Там жили без размаха. Тоже пили ночами напролет — но говорили главным образом о том, кто с кем переспал. Громко бранились, били стаканы. Часто пьянки заканчивались драками. Оказавшись меж новых друзей, я увидел разницу. Новые друзья из большого города разговаривали очень тихо. Чтобы никто не подслушал. Пили много, но редко, никогда не опускаясь до дурного куража.

— Ты много не пей. Коньяк не трогай. Хлебни вина — и ложись спать. В семь утра поедешь.

Из нас троих я один имел водительские права, и назавтра предполагался дальний перегон машины.

Опрокинув по третьей, они научили меня:

— Ты пьяный. Поймают — отберут права. Поэтому через город не езжай. Езжай вокруг. Так длиннее, но проще. Там три поста будут. На выезде, на Кольцевой дороге и на въезде. Не гони. Темных очков не надевай. Побрейся. Метров за двести перед постом притормози, дождись грузовика побольше — в его тени проскочишь...

Я слушал внимательно. Такую науку не преподают в университетах. Это очень ценная наука, ей тысячи лет, она передается устно от одного к другому, и каждый обогащает ее чем может. Фолкнер сказал: «Человек не только выживет, но и восторжествует». В девяносто первом году все вокруг меня стремились выжить, но я хотел не только выжить, но и восторжествовать; в молодости очень хочется восторжествовать; сейчас, когда мне растолковывали, каким образом можно быстро и безопасно восторжествовать, я запоминал дословно.

Во втором часу ночи они меня отругали:

— Тебе же говорили, не пей. Ты никакой уже. Ляг и поспи. Мы тебя разбудим часов в шесть. Примешь душ, позавтракаешь, брюки погладишь и поедешь...

Этих двоих я любил как раз за их вкус. Они не выдвигались из дома, не приняв душ, не погладив брюки и не позавтракав, даже если завтрак состоял из сигареты без фильтра. Бывают люди, обладающие талантом жить здесь и сейчас, обращающие в приключение каждый мельчайший поступок, даже поход в сортир. Мне исполнилось двадцать, и мне казалось, что таких вот людей, или примерно таких, я всегда искал. Они жили очень плотно и утром не знали, где окажутся вечером: в Петербурге, в Бутырке, в травматологии, в постели с женщиной.

Иногда они прерывали разговор, чтоб сыграть в «железку»: один доставал крупную купюру, помещал на стол и накрывал ладонью. Второй говорил: «Четвертая — четная». Или: «Шестая — нечетная». Изучали серийный номер радужной бумажки, и угадавший забирал ее себе. В два часа ночи первый выиграл у второго сумму, равную четырем моим зарплатам корреспондента многотиражной газеты «Огни новостроек» или двенадцати университетским стипендиям.

В половине третьего второй отыгрался, посмотрел на меня и покачал головой:

— Да ты в хлам совсем. Иди спать.

— Тише, — перебил первый. — Дайте песню послушать.

Он прибавил громкость радиоприемника, прикрыл глаза и улыбнулся своим мыслям. Второй тут же поджал губы. Между ними ощущалось интимное взаимопонимание подельников.

А пуля-дура прошла меж глаз

Уже на закате дня.

Успел сказать он и в этот раз:

«Какое мне дело до всех до вас,

А вам — до меня?»

Они были суеверны: когда первый уронил нож, второй покачал головой и пошел проверять дверные замки.

«Интересные люди, — думал я. — Пьют стаканами коньяк и одновременно обсуждают дела. Вдобавок, несмотря на глубокую ночь, периодически телефонируют в Одессу и Игарку. Вот мне, например, телефонировать некуда. Я живу без размаха, и у меня нет ничего, кроме спортивного костюма. А они снимают двухкомнатную квартиру, пьют “Варцихе” и катаются на машине с музыкой».

В пустой комнате я лег на узкую кровать. С потолка на изогнутом проводе свисала лампа без абажура, такие свисающие голые лампы всегда вызывали у меня ощущение тревоги, и я вспомнил другую комнату, свою, в родительском доме, вдумчиво обустроенную: портреты Высоцкого и Масутацу Оямы, полки с книгами, ящики стола, битком набитые рукописями, перед столом — кресло с подлокотниками и вертикальной спинкой, очень удобное, с точки зрения тех, кто считает писательский труд сидячим; гитара

в углу, гриф перехвачен струбциной, как горло — шарфом; напротив — печатная машинка на обтянутом кожей табу-рете; на гвоздях висят два кимоно, одно — для тренировок, второе — парадное, в нем я экзамены сдавал; полупустой платяной шкаф; тайничок для денег, в котором никогда нет денег; подоконник, заваленный старыми кассетами, лукаво торчат из них петли зажеванной пленки. Тихая, теплая, удобная комната. Я больше туда не вернусь.

Когда меня разбудили, в окне я увидел огромный желтый диск, от него ко мне шел самый первый и самый прозрачный утренний свет. Некие картинки, пейзажи или же интерьеры, живут внутри нас как мечты, и когда внешний мир уподобляется этим мечтам — нам хорошо тогда. Мне часто хотелось проснуться однажды в комнате с окнами без штор, и чтобы с другой стороны переливалось синее небо в редких облаках; все цвета ясные, без полутонов, синий, белый, желтый. Полторы или две секунды — после того, как проснулся, но еще до того, как ударила в голову похмельная дурь, — я ощущал счастье.

— Пора, брат, — сказали мне. — Кофе готов.

— Слушай, запах от него страшный. Перегар.

— Согласен.

— Пусть идет в душ. И пусть пожует зубной пасты.

— И кофейных зерен.

— Ему надо что-то съесть. Пожарь ему хлеба.

— У нас есть сыр.

— Вот, дай ему хлеба и сыра. Ты в порядке, брат?

— Да, — ответил я и встал, излишне бодро дергая плечами.

— Сигарету?

— Я не курю.

— Он спортсмен.

— Это ненадолго.

— Отстань от человека. Пойдем, доиграем.

Если много выпить и не успеть потом проспать, впадаешь в особенное состояние полудиота. За руль, конечно, нельзя. Лучше ездить пьяным, нежели наполовину протрезвевшим. В моей голове гудели колокола, мысли оформлялись кратко и неряшливо: «хуево» менялось на «пиздец как хуево» и обратно.

Жгло десны. Частицы кофейных зерен скрипели на зубах.

— Если не сможешь откупиться, — напоследок сказали мне, — тогда разводи. Рыдай, импровизируй. Клянись мамой, рви фуфайку. Дави на жалость.

— Я не умею.

— Захочешь — сумеешь. Ты ж каратист. Слышал про дзенский способ научиться рубить мечом?

— Да, — ответил я. — Берешь меч и рубишь, пока не научишься...

— Слушай, ты забыл надеть носки.

— Ну и черт с ними.

Машина стояла на лучшем месте, в двух метрах от двери подъезда. Белая, красивая. Чья-то собака уже успела обгладить колесо.

Залез в прохладный после ночи салон. Завелся, поехал. От бензинно-резиновых запахов подташнивало.

Привычно усмехнулся — в тридцатый раз за последние тридцать дней. Много лет я был равнодушен к автомобилям и никогда не предполагал, что именно четырехколесные железные механизмы, столь обожаемые обывателями, изменят всю мою судьбу.

Месяц назад я разбил машину своего отца. Взялся доехать до гаража, пятьсот метров по прямой, и на трехсотом метре протаранил корму чужого авто. Вечером в пахнущей

старыми тряпками квартире пострадавшего, развязного бодрого старика, оговорили сумму ущерба. Когда вернулись домой и рассказали матери, она выронила сковородку. Три тысячи рублей; сто долларов; годовой доход всех членов семьи.

Ночью я позвонил в большой город, попросил займы и немедленно на завтра получил все, что просил. Вернуть долг я мог только одним способом: отработать.

Я сказал: покажите яму, я буду копать. Покажите мешки, я буду таскать. Новые друзья посмеялись, их беззаботность внушала уважение.

— У него есть водительские права, — сказал один другому. — И черный пояс по карате.

— Черного нет, — сказал я. — Только синий.

— Это неважно.

— Ни о чем не переживай.

— Мы давно присматривались к тебе.

— Хочешь, поедem к твоему потерпевшему и заберем назад твои деньги.

— Каким образом? — спросил я.

— Это наше дело.

— Не хочу.

— Это твое дело. Пойдем вино пить.

— К черту вино, — мрачно сказал я. — Давайте работу, я начну немедленно.

Они переглянулись.

— Работы немерено. Работы столько, что у тебя крыша поедет. Поэтому пойдем вино пить.

Вспотевший от жары и переживаний, я попросил:

— Лучше пиво.

— Чудак, — ответили они. — Пиво — бухло для быдла. Мы пьем вино. Холодное. Белое. Пойдем. Успокойся. Придумал тоже: «мешки», «ямы»... Пойдем, брат.

Первый пост, на выезде, я ловко проскочил. Инспектор в лихо заломленной фураге издалека выцеливал меня, но в решающий момент я сделал вид, что зеваю, и расктер пятерней лицо, слегка отвернувшись в сторону. Неизвестно, насколько натурально это выглядело, но свистка я не услышал. Повеселел. Надал. Хороший, плавный поворот с Мичуринского проспекта на Кольцевую дорогу пролетел с визгом колес. Крен, вираж, восторг, удар солнца по глазам — вышел на прямую уже свободным от похмельной дурноты, как будто искупался.

Шоссе, почти пустое, гладкое, пепельно-серое, тянуло и звало, месяц назад я был равнодушен к автомобилям, а теперь — наоборот.

Среди многих не самых худших людей любовь к скорости, к дороге, к колесам считается мальчишеством. И даже чем-то неприличным, дешевым. Но ведь я и есть мальчишка. И я бы предпочел оставаться им как можно дольше. Я еще успею повзрослеть. Мне двадцать лет, я бы не хотел взрослеть еще года два или три. Не желаю быть серьезным, благоразумным, уравновешенным, или как там еще ведут себя взрослые люди. Взрослым принадлежит весь мир. Зато мне сейчас принадлежит асфальт и педаль газа.

Вон они, взрослые. Прокуренные и мрачные, вращают огромные штурвалы грузовиков. Катятся размеренно, серьезно. Никуда не спешат. Дорога выбрана. Цена установлена. Одного я обогнал излишне резко. По крайней мере, он так решил. Он гудит мне вслед и даже рукой машет. Ругается. Лучше бы себя поругал. Пролетая на бреющем, я заметил, что его левое заднее колесо не в порядке. Полуспущено. Эй, дядя, ты аварийный, я исправный — кто кого ругать должен?

Ревет мотор. Говорят, есть машины с практически бесшумными двигателями. Разве это машины? Еще говорят,

что есть места, где люди всегда пристегиваются ремнями безопасности. Ходят слухи, что в иных странах принято соблюдать рядность. Что в некоторых человеческих сообществах считается шикарным не уметь водить машину. Что медленная езда считается аристократичной.

Ну, аристократов можно понять, им спешить некуда, им все досталось от мамы с папой. А мне достались только руки, ноги, голова и яйца. И я, в общем, не в обиде.

Слишком поздно вспомнил, что друзья рекомендовали не хулиганить на дороге. Быть как все. Скромно, в общей массе. Легко сказать. Невозможно за короткий месяц научиться имитировать законопослушность. Пришлось срочно тормозить, но полосатый жезл уже был направлен прямо в меня.

Лейтенант был помят и недружелюбен. Едва я приблизился, как он сложил грубое лицо в гримасу отвращения и торжества.

— Хо-хо-хо! Вот это запах! Ты попал, парень!

— В каком смысле?

Лейтенант рассвирепел практически без перехода.

— «В каком смысле»?! Пройдите на пост, товарищ водитель!

Драматически напрягшись, я повиновался. Инспектор вошел в пыльную будку сразу вслед за мной. Его напарник мощно расчесывал лохматую голову.

— От него, — сурово сказал лейтенант, — несет так, что мне уже хочется закусить!

Напарник потянул носом и брезгливо кивнул.

— Я трезвый, — сказал я.

— Какой, на хер, «трезвый»?! — грянул грубый лейтенант. — Да ты пил всю ночь! И не водку! Ты — коньяк пил! И вино! А потом наелся зубной пасты! И кофейных зерен! Он еще возражает!

Второй плюнул на пальцы и ловко извлек бланк протокола. У них дуэт, понял я. Роли распределены, все налажено.

— Машину изымаем, водителя — на освидетельствование!

— Накажите рублем, — попросил я.

— Хо-хо-хо! Рублем! Да у тебя денег не хватит! Да ты знаешь, кто я? Да я только неделю как из Чечни! Я знаешь какой злой? У меня с такими, как ты, разговор короткий. Ишь, рублем решил отбиться!

— А пусть попробует, — кашлянув, предложил второй.

Я достал деньги и показал.

— Хо-хо-хо! Да ты издеваешься! Ты хоть мои звезды посчитал? Или не умеешь? В армии служил? А? Или откошил? Оформляй его!

— Нет, — сказал я. — Не оформляй.

— Не понял?!

— Машину не отдам. Штаны отдам, рубаху отдам, все деньги отдам, паспорт отдам. Хочешь — зубы выбей и заведи. Ногти выдерни. Уши отрежь. Но машину оставь.

Чеченский ветеран прищурился.

«Рви фуфайку», говорили они. «Импровизируй».

Я потратил минут двадцать. Вытирал сопли и воздевал руки к небу. Проклинал судьбу и выл, как пес. Никогда так не врал. Яростно и точно. Вдохновенно и изощренно. Красиво и весело. Многословно и мелодично. Про то, как проигрался в карты, страшно, в дым, в пух и прах, и вот теперь еду отдавать машину, карточный долг — долг чести, машина, любимого дедушки подарок, — это все, что есть, больше ничего нет. Денег нет. Носков и тех нет.

Иллюстрируя, поддернул штанины. Ветеран посмотрел, подумал.

Уговорив и отдав всю наличность, я вернулся в спасенное от поругания авто и перевел дух. Но грубый лейтенант

вышел на крыльцо и сделал мне знак. Передумал, ужаснулся
я и на слабых ногах подошел.

Он протянул мне мои деньги.

— Держи. Купи себе носки.

Жаль, что тебя с нами не было

Как образцовый фанат, после каждой тренировки я оставался в зале. Все уходили — я оставался. На полчаса, а то и на час. Махал ногами до тех пор, пока не приходила уборщица и не начинала греметь своим ведром, всякий раз несколько демонстративно. Дескать, ваше время истекло, сейчас мое время.

Я очень любил карате, уважал его философию и собирался примерно лет через девять, к своим тридцати, достичь того уровня мастерства, когда можно побеждать соперника одним только взглядом. Ибо сказано: «Лучшая драка — та, которая не состоялась».

Летом в зале хорошо. Окна распахнуты. Снаружи поют птицы. Старые доски пола скрипят под моими босыми ступнями. Еще лучше бывает, когда отработаешь свое, примешь прохладный душ, докрасна разотрешься жестким полотенцем, уложишь в сумку насквозь пропотевшее кимоно (память об армии, подарок первого учителя), натянешь свежее белье и выйдешь, чувствуя в ногах приятную ломоту, в постепенно густеющий воздух прохладного подмосковного вечера.

У дверей меня ждали: стояла машина моего друга Юры, снежно-белая, до блеска вымытая, на капоте ее была накрыта поляна: пластиковая канистра и два стаканчика, тоже

пластиковые. Рядом переминался с ноги на ногу Шипков и курил сигарету.

— Наконец-то, — сказал он.

— Что стряслось?

Шипков улыбнулся и похлопал меня по плечу — уважительно, потому что верил в практическую пользу физической силы, но и несколько снисходительно, потому что был на четыре года старше.

— Ничего. Вот, приехали тебя провести. Мы же вчера из Крыма. Феодосия, Ялта, все дела. Вот, винчика привезли. Массандра, брат! Накати-ка стакан.

Он наклонил канистру и налил себе и мне. Запахло виноградом, солнцем, морем и всем лучшим, что есть на земле.

— А где Юра?

— Пошел пописать. Ты же знаешь Юру, он на виду у людей писать не любит.

Я оглянулся. Десять вечера, людей не было ни одного. Подмосковный город даже летом ложится спать рано.

Я выпил и сразу охмелел. Июнь, плюс двадцать два, мне тоже двадцать два, и это тоже плюс; в гости приехали веселые, удачливые, богатые друзья. Сам бог велел охмелеть.

— Чего морщишься? — озабоченно спросил Шипков. — Вино плохое?

— Ребро сломали.

— Кто? Как? Покажи пальцем — мы с Юрой за тебя любого поломаем. И каждого.

— Забудь. Как у вас дела?

— Дела такие, что у тебя крыша съедет. — Шипков зажег новую сигарету. — Вчера дело пытались сделать. Жаль, что тебя с нами не было. Прикинь, приехали в общагу, рано приехали, часов в двенадцать, просто так приехали,